

Словцов Р. Художественный театр и Чехов // Новое русское слово (Нью-Йорк).

1937. 8 августа. № 8953. С. 2.

Художественный театр и Чехов

ЧАЙКА.

Московский художественный театр справедливо называли театром Чехова. Но он стал чеховским не сразу, и притом совершенно неожиданно для его руководителей. В репертуар первого сезона была внесена «Чайка». Это был смелый шаг. За несколько лет перед тем чеховская пьеса совершенно провалилась в Александринском театре. Но Неймирович-Данченко счел высоко ценным Чехова, как драматурга, и убедил его дать пьесу для нового театра. Другой руководитель театра, Станиславский, тяготел к классикам, был равнодушен к современным авторам, и к пьесам Чехова относился, — как свидетельствует Неймирович, — с таким же недоумением, как и вообще вся театральная публика. Но мизансцену предстояло готовить ему. Между тем, прочитав «Чайку» он совсем не понял, чем тут можно увлечься: люди казались ему какими-то половинчатыми, страсти — не эффектными, слова может быть санником простыми, образы — не дающими актерам хорошего материала. Предстояло отвечать его фантазии от фантастики или истории, откуда всегда черпаются эффектные сюжеты, и погрузить в самые обыкновенные окружающие нас будни, наполненные самыми обыкновенными будничными нациями чувств. Он уехал отдыхать и подготовил режиссерский экземпляр «Чайки». Неймировичу надо было начать работу с актерами.

ЧЕХОВСКИЕ БУДНИ

«Станиславский, — вспоминает Неймирович, — и всегда впоследствии, приступая к новой постановке, говорил: «Вы меня напичкайте тем, что я должен иметь, особенно в виду при сочинении режиссерского экземпляра». И был один такой красивый у нас день: не было ни у меня, ни у него репетиций, ничто постороннее нас не отвлекало, и с утра до позднего вечера мы говорили о Чехове. Вернее, я говорил, а он слушал и что-то записывал. Я ходил, присаживался, опять ходил, подыскивая самые убедительные слова, если видел по напряженности его взгляда, что слова скользят мимо его внимания, подкрепляя жестом, интонацией, повторениями. А он слушал с раскрытой душой, доверчивый... Станиславский коренной москвич, знавший хорошо артистический и театральный мир, совершенно не знал русской провинциальной интеллигенции и полунинтелигенции, всего того многомиллионного пласта русской жизни, который был материалом для чеховских произведений. Ему были чужды и их волнения, и их слезы, недоумение, ссоры, все, что составляет жизнь в провинции. А главное — не ощущал он того огромного обаяния авторской лирики, какой окутывают эти чеховские будни.

РЕПЕТИЦИИ.

Когда начались репетиции, в этом сарайчике, на подмосковной даче, где готовился первый сезон, — атмосфера изменилась. Вместо Руси «царя Федора», Венеции «Шейлака», Греции «Антигона», повернувшись к печальным будням Чехова. Ничего экстравагантного в костюмах; никаких резких гримов; полное отсутствие народных сцен, никакого каскада внешних красок, — словом, ничего, чем бы актер мог защититься от необходимости скрывать до натуры свою индивидуальность. Тишина, сосредоточенность, малодвижность.

«Прежде всего, — вспоминает Неймирович, — мне нужно было считаться с пестрым составом исполнителей. Всех персонажей в «Чайке» десять; из них четверо — мои ученики, трое — любители из кружка Алексея, и три актера со стороны. Чудесно подходила к общему тону чеховской пьесы жена Константина Сергеевича артистка Лилина. Быстро овладела ролью и креп-



И. М. Москвина

ко, доверчиво пошел за мной другой крупный член его кружка, Лужский. Главной же опорой моей были мои ученики — Книппер, Роксанова, Мейерхольд. Среди всех по началу какой-то белой порочной казался Вишневский, провинциальный актер, со всеми штампами старого театра. Но он так горячо рвался в наш театр, так слепо верил мне и Станиславскому, что отказался от большого контракта и работал с послушностью и рвением, на какие вряд ли был способен какой-нибудь другой «чужой» актер, и раньше всех поверил в Чехова. Мешало репетициям, что сам Станиславский отсутствовал. А он играл роль писателя. Приходилось провести десяток другой репетиций без него... В наших репетициях была одна сила огромная, всех объединяющая — энтузиазм. Влюбленность во все дело, в самую работу. Без мелкого самолюбия, без малейшего, кабо-

гинства, с громадной верой. Один из актеров (со стороны) никак не поддавался общему увлечению, хотя и очень подкачал по своим данным к роли. Даже не скрывал своего иронического отношения к новым приемам Чехова-драматурга. Я, не долго раздумывая, устранил его и заменил другим.

ПАУЗЫ.

Станиславский стал присматривать из деревни мизансцену по истам. Мизансцена была смелой, непривычной для обыкновенной публики и очень жизненной. «В сущности говоря, Станиславский так и не почувствовал настоящего чеховского лиризма, и, однако, специфическая фантазия подсказывала ему самые подходящие куски из реальной жизни. Он отлично схватывал скуку усадьбыного дня, полунинтересную раздраженностью, действующими лицами, картины отъезда, приезда, осеннего вечера, умел наполнять течение акта подходящими вещами и характерными подробностями для действующих лиц». Все это было тогда ново в театре, как и паузы и написанные художником Симоновым декорации, дававшие радостное ощущение живой



В. И. Неймирович-Данченко



А. П. Чехов.

натуры. Об этих декорациях Неймирович рассказывает такой эпизод. «Во время одного из представлений «Чайки» в публике сидел с мамашей ребенок лет пяти. Он то и дело громко вставлял свои замечания и хоть мешал публике, но был так забавен, что ему прощали. Разглядев сад на сцене, он начал приставать к матери: «Мама, ну пойдем туда, в сад, погулять».

И все-же перест премьерой настроение было нервиное, и не только среди участвующих, но и по всему театру. «Чувствовалась нависшая гроза. От этого спектакля зависело все существование молодого театра. При этом репетиции не давали никакой уверенности в успехе. Темный репетиционный

зал слушал молча, расхваливая молча, был чрезвычайно сосредоточен, но как будто никто не решался делать каких-нибудь предсказания. А тут еще общую нервозность усиливала сестра Чехова, Мария Павловна. Антон Павлович жил в то время в Ялте, сестра анала, как тревожно он ожидал этого спектакля, говорила, что он кланет себя за то, что уступил мне. И сама нервничала, и заражала этой нервозностью всех в театре. За день до спектакля Станиславский, несмотря на то, что генеральная прошла хорошо, обратился ко мне с заявлением, почти официальным, о необходимости спектакль отложить и репетировать еще. Я ему ответил, что, по моему, пьеса вполне готова, и что откладывать ее не к чему, и что, судя по генеральной, должен быть успех, а если спектакль все-таки не будет иметь успеха, то теперь с этим уже ничего не поделаешь.

— Тогда снимите мое имя с афиши, — сказал он.

ПРЕМЬЕРА.

На афише, в качестве режиссера, стояли оба наши



К. С. Станиславский.

имени. Не помню, убедил ли я его или просто не послушался, но сто имени с афиши не сняли.

Наступило 17-е декабря 1898 года. Театр был не полон. Премьера чеховской пьесы не сделала полного сбора. Много раз рассказывалось об этом историческом спектакле. Первый акт был очень смелым и по мизансцене и по рисованному, особенно ввиду монолога Нины, который в Петербурге возбуждал общий смех. Но «закрылся занавес после этого акта, и случилось то, что в театре бывает, может быть, раз в десяти лет: занавес сдвинулся — тишина; полная тишина и в зале, и на сцене, за занавесом; там, как будто, все замерло, здесь, как будто, еще не поняли, что это было. Видение? Сон? Грустная песня из каких-то знакомых, знакомых напевов? Откуда пришло? Из каких воспоминаний каждого? Кто эти лица, которых как будто в первый раз сейчас встретил, а вместе с тем все они отличные старые знакомые? Такое состояние длилось долго. На сцене уже решили, что первый акт провалился, что в зале не нашлось даже ни одного друга, который бы рискнул зааплодировать. Актеров охватила нервная дрожь, близкая к истерике. И вдруг, в зале, точно плотина прорвалась, точно бомба взорвалась, сразу раздался оглушительный врыв аплодисментов. Всех — и друзей, и врагов. Занавес открыли шесть раз, потом как-то вдруг аплодисменты прекратились, точно зритель боялся, чтобы в этих вызовах не расплескалось то великолепное, что было нажито. Третий акт имел еще больший успех, а по



В. И. Качалов

окончании спектакля победа определялась с такой яркой несомненностью, что когда Неймирович вышел на сцену и предложил публике послать телеграмму автору, то овации длились еще долго.

ТЕАТР ЧЕХОВА.

После представления «Чайки» художественный театр не только стал театром Чехова, но и вошел в жизнь самого автора. «Со всеми своими интересами, планами, со всем особым бытом вошел в самое существование писателя Чехова. Сколько бы его биографы от этого ни пытались, иногда, умалить это обстоятельство. Художественный театр наполнил его жизнь радостями, каких ему глубоко не доставало. Он любил театр с юности, не меньше, чем литературу, к театральному быту стремился, может быть,

больше, чем даже к писательскому, но театры охладели к нему. Тут пришел театр, доставивший ему самые высокие радости авторского удовлетворения, охвативший лучшими стремлениями, и совершенно лишенный театральной пошлости. С кинтибой на Книппер, выдающейся артистке и исполнители ее ролей, сближение Чехова с театром, стало, конечно, еще полнее. «В то же время за кулисами театра, а самом его быту, все гуще и определеннее складывалась по лоса — если можно, так выразиться — чеховское мироощущение. Как потом лет через пять начнет выпукло, рельефно, вырисовываться воздушная жила горьковского мироощущения».

После «Чайки» поставили «Дядю Ваню». Эта пьеса имела огромный успех, но только у «тонкого слоя, у людей чутких и видящих вдали и глубже». Большую публику захватила лишь со второго сезона, что бывало со всеми чеховскими пьесами. Но в дальнейшем она уже держалась без конца. Репетиции «Трех сестер», следующей чеховской пьесы, шли в присутствии автора, приехавшего из Ялты. Читали пьесу при нем. «Он боролся со смущением, и несколько раз повторял: «Я же подвинул писал». Впоследствии он тоже будет говорить и про «Вишневый сад», что он написал подвинул. В конце концов, — замечает Неймирович, — мы так и не поняли, почему он называет пьесу «Вишневый сад», и в рукописи называлась драмой. Когда актеры, прослушав пьесу, спрашивали у него разъяснений, он, по обыкновенному, отвечал фразами, очень мало объяснявшими: «Андрей в этой сцене в туфлах» или «Здесь, он, просто приспосабливается». В письмах в этом отношении он был точнее: «Люди, которые давно носят в себе горе, и прыжки к нему, — только приспосабливают и задумываются часто».

«ТРИ СЕСТРЫ».

«Три сестры» остались, по мнению Неймировича, лучшим спектаклем Художественного театра и по великолепнейшему ансамблю, и по мизансцене Станиславского. «Это — не такая глубоко лирическая пьеса, как «Чайка»; в «Трех сестрах» непосредственность замещается чудесным мастерством. Кроме того, Чехов в этой пьесе делал то, что обыкновенно через чужих умышленных критиков порицалось: он писал роли для определенных намеренных исполнителей. Он, как великолепный, если можно так выразиться, театральный психолог, хорошо уловил артистические особенности нашей молодой труппы и для пьесы выбрал из своего литературного багажа образы, более или менее близкие к их артистическим качествам. Это тоже очень помогло ансамблю».

Последней пьесой Чехова, поставленной за несколько месяцев до его смерти, был «Вишневый сад». Он очень волновался, и опять не перил в успех.

— Купи за три тысячи всю пьесу навсегда — предлагал он Неймировичу, не совсем шутил.

— Я тебе дам, — отвечал тот, — десять только за один сезон и только в одном Художественном театре. Он не соглашался и, всегда, молча только покачивал головой.

Первое представление состоялось в день его имени. Это было совершенно случайно, но, без всяких гадалок и предчувствий. Чехов оставался до 12. Но Москва предчувствовала, что в последний раз может увидеть любимого писателя. За ним поехали и привезли в театр. Чествование было глубоко трогательно и глубоко искренне. Неймирович сказал ему, выступая от театра:

«Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: «Это мой театр, театр Чехова».

Р. Слоним.